
БАРД ЖИЗНИ

(Уолт Уитмен 1819–1892)

Каждому Слава!

<...>

Благо во всем!

Уитмен

Со мною равны те, кто миром также пьяны.

Э. Верхарн

Я — Уитмен, я — космос.

Уитмен

I

Каждый, вероятно, по собственному опыту привык делить людей на «нормальных и благонадежных» и на «ненормальных и сомнительных». К первой категории обычно относятся все те, которые ничем особенно резко не отличаются от большинства, поступки которых совпадают с обычным шаблоном поведения, слова и действия которых представляют одно целое, где последующее вполне понятно вытекает из предыдущего. Такие люди не возбуждают никакого сомнения: им верят, и мнение, характеризующее их, остается неизменным.

Но наряду с ними, вероятно, каждому приходилось встречаться с людьми, резко отличающимися от этой категории. У них все как-то делается по-своему. Сегодня они вам покажутся святыми и гениальными, а завтра выкинут что-нибудь такое, что вы только «ахнете». Во всей линии жизни таких людей отсутствует та понятная последовательность, которая обнаруживается в жизни людей первой категории. Там, где человек первой категории поступил бы «так-то», человек второй категории поступит наоборот. Сегодня он вас приведет в восхищение, завтра — в негодование; сегодня вы называете его гениальным, завтра — сумасшедшим. Когда спросят о человеке этой категории, вы, рассказав все, что знаете о нем, обычно заканчиваете его характеристику словами: «А впрочем, сам черт не разберет — кто он такой».



„Каждому Слава!“ „Благо
во всемъ!“

(Уитманъ).

„Со мною равны тѣ, кто
міромъ также пьяны.“

(Д. Верхарнъ).

„Я — Уитманъ, я — космосъ.“

(Уитманъ).

I.

Каждый, вѣроятно, по
собственному опыту
привыкъ дѣлить лю-
дей на „нормаль-
ныхъ“ и на „ненормальныхъ“ и со-
мнительныхъ“. Къ первой кате-
горіи обычно относятся всѣ тѣ, ко-
торые ничѣмъ особенно рѣзко не
отличаются отъ большинства, по-
ступки которыхъ совпадаютъ съ
обычнымъ шаблономъ поведения,
слова и дѣйствія которыхъ предста-
вляютъ одно цѣлое, гдѣ послѣдую-
щее вполнѣ понятно вытекаетъ изъ
предыдущаго. Такіе люди не воз-
буждаютъ никакого сомнѣнія имъ:
вѣрять, и мнѣніе, характеризующее
ихъ, остается неизмѣннымъ.

Но, наряду съ ними, вѣроятно
каждому приходилось встрѣчаться
съ людьми, рѣзко отличающимися
отъ этой категоріи. У нихъ все какъ
то дѣлается по своему. Сегодня

они вамъ покажутся святыми и
геніальными, а завтра выкинуть
что-нибудь такое, что вы только
„ахнете“. Во всей линіи жизни та-
кихъ людей отсутствуетъ та понят-
ная послѣдовательность, которая
обнаруживается въ жизни людей
первой категоріи. Тамъ, гдѣ чело-
вѣкъ первой категоріи поступилъ
бы «такъ-то», человѣкъ второй кате-
горіи поступитъ наоборотъ. Се-
годня онъ васъ приведетъ въ вос-
хищеніе, завтра — въ негодованіе;
сегодня вы называете его геніаль-
нымъ, завтра — сумасшедшимъ.
Когда спросить о человѣкѣ этой
категоріи, вы, рассказавъ все, что
знаете о немъ, обычно заканчи-
ваете его характеристику словами:
„А, впрочемъ, самъ чортъ не раз-
беретъ — кто онъ такой“.

То же самое бываетъ и съ поэтами.
И ихъ можно дѣлить на — „благо-
надежныхъ“ и „сомнительныхъ“. Репутація первыхъ держится прочно
и непоколебимо. Если ихъ называютъ
„великими“, то каждый, вновь зна-
комящійся съ ними, тоже назы-
ваетъ ихъ „великими“. У него не
возникаетъ совершенно сомнѣнія
въ ихъ величій, таковы: Гомеръ,

То же самое бывает и с поэтами. И их можно делить на «благонадежных» и «сомнительных». Репутация первых держится прочно и непоколебимо. Если их называют «великими», то каждый, вновь знакомящийся с ними, тоже называет их «великими». У него не возникает совершенно сомнения в их величии, таковы: Гомер, Шекспир, Шиллер, Гёте, Байрон и вообще большинство «классических» поэтов.

Но наряду с ними имеются и такие поэты, которым не веришь. Вы отлично знаете, что многие ими восхищаются, знаете, что великие знатоки прекрасного называют их «величайшими из великих», знаете, что их целая нация называет «своею гордостью», и все же, когда знакомитесь с ними, не верите всем этим прекрасным аттестатам.

«Да поэт ли он? Не одно ли недоразумение? Не впали ли в грубое заблуждение великие критики, назвавшие их великими?» — таковы вопросы, которые вы задаете себе при чтении поэтов этой категории.

Читаете, перечитываете их; кое-что вас восхищает, а остальное удивляет своей нелепостью и безвкусицей. «Как будто и поэт, но как будто и недоразумение», — размышляете вы и, наконец, заканчиваете: «А впрочем, сам черт не разберет — кто он такой!»

Представителем поэтов этой категории является У. Уитмен — знаменитый американский поэт, считающийся сейчас национальным поэтом Америки.

Кто он? Действительно ли великий художник, или же историческое недоразумение? Поэт или составитель каталогов?

Для примера возьмите хотя бы такой отрывок из поэмы «Я воспеваю электрическое тело»¹.

О, мое тело! Я не решаюсь оставить твои подобию в других — мужчинах
и женщинах, ни оставить подобию твоих частей,
Я верю — твои подобию будут стоять или падать с твердостью или паденьем
подобий души (и что они суть душа).
Я верю, подобию твои будут стоять или падать вместе с моими поэмами, и что
они суть мои поэмы.
Поэмы мужчины, женщины, ребенка, юноши, жены, мужа, матери, отца, юно-
го мужа и юной жены.
Голова, шея, волосы, уши, сережки ушей, барабанная их перепонка.
Глаза, бахрома ресниц, радужная оболочка глаза, брови, пробуждение век, их
дремота.
Рот, язык, губы, зубы, нёбо, челюсти, скрепы их,
Нос, ноздри и перемычка,
Щека, виски, лоб, подбородок, горло, затылок и шейная ось...
<...>
Ребра, живот, позвоночник, суставы спинного хребта.
Бедрa, впадины бедр, сила бедр, округлость внутри и снаруж¹ и т. д. и т. д.

¹ У. Уитмен. Побег травы. Пер. Бальмонта, с. 36, 37.

Подобное перечисление тянется на двух с лишним страницах и представляет полный курс анатомии.

Если подобную «описательную анатомию» считать поэзией, то тогда трудно найти произведение, которое не было бы поэзией.

И это стихотворение не исключение, а по крайней мере около половины песен из «Побегов травы» (единственного крупного произведения Уитмена, сделавшего его знаменитым) состоит из подобных каталогов и реестров. Для примера приведу еще отрывки из «Salut au monde» («Привет миру»).

Что ты слышишь, Уолт Уитмен?
Я слышу, как поет рабочий, поет жена фермера.
Я слышу, там в отдалении, звуки детей и животных ранним утром,
Я слышу, кричат, подбодря друг друга, австралийцы в погоне за дикою лошадей,
Я слышу испанскую пляску... и т. д.

Целая страница занята перечислением того, что слышит Уолт Уитмен, и в этом заключается вся песня.

Дальше то же самое, только замените «я слышу», словами «я вижу».

Что ты видишь, Уолт Уитмен?
<...>
Я вижу, великое круглое чудо катится через пространство.
Я вижу, вдали, в уменьшенных фермы, деревни, руины, кладбища, тюрьмы,
конторы торговые, дворцы и лачуги, хижины диких, шатры кочевников,
вижу я все это там, на поверхности,
Я вижу часть тeneвую с одной стороны, где спящие спят, и светлую часть,
озаренную солнцем, с другой стороны.
<...>
Гималаи вижу я четко, Тянь-Шань, Алтай и Гхаут^{2*},
Я вижу гигантские башни Эльбруса, Казбека, Базарджуси^{3*},
Я вижу Штирийские Альпы, Карнакские Альпы... и т. д. и т. д.

Вместо «описательной анатомии» имеем перед собой «описательную географию». И это «я вижу» с перечислением того, что Уитмен видит, тянется с 63 по 75 страницу.

Как видите, поэтом быть не трудно. Возьмите бумагу, напишите «Я вижу», или «Я слышу», или «Я приветствую», или «Я делаю» — и перечисляйте во славу Божию то, что вы видите, слышите, что хотите приветствовать или делать.

Недаром Гамсун (тогда еще неизвестный юноша) добродушно-иронично замечает про Уитмена: «Может быть, говорить это — ересь, может быть, даже прямо — святотатство, но я признаюсь, что в темные ночи, когда меня одолевали наиболее тяжкие поэтические искушения и я не мог уснуть, случалось, что я со всей силой стискивал себе зубы, дабы не сказать прямо, без обиняков: “Вот оно как! — Значит, и я могу писать стихи”»².

² К. Гамсун. Кн. 15 (издание Маркса), с. 519^{4*}.

Прибавьте к этому трудность, а иногда и полную невозможность понимания того, что хочет сказать Уитмен, и ваше сомнение еще больше увеличится.

А понимать Уитмена не легко. Возьмите, например, такую песню из отдела «Песнь плотничьего топора».

(Америка! Я не восхваляю любовь мою к тебе.
Я имею, что имею!)
Скачет топор.
Плотный лес дает отзвук текущий,
Катаются, мчатся вперед выражения эти (?), встают в очертаньях (?)^{5*},
Хижина, шатер, пристань, вежи,
Цепь, плуг, мотыга, лом, лопата,
Гонт, брусок, подпорка, стенная обшивка, косяк... и т. д.

(с. 96)^{6*}.

Что хочет сказать этим Уитмен, при чем тут Америка?

Иногда на целые страницы тянется у него перечисление. Читаешь и не понимаешь: к чему и зачем оно? Наконец, в самом конце находишь нужное сказуемое. Примером может служить пятый отрывок из того же отдела.

Место, где город великий стоит, не есть место раскинувшихся верфей, доков,
фабрик, складов продуктов... —

и т. д. (идет перечисление).

И не место, где население наиболее многочисленно.
Где город стоит с наиболее мускулистой расой ораторов и бардов.
Где город стоит, который ими любим, и который их любит взамен и их понимает,
Где нет никаких памятников героям... —

и т. д. (идет целая страница перечислений).

Наконец, только добравшись до конца отрывка после целого ряда предложений, начинающихся со слова «где», находишь:

Там стоит город великий

(Ibid., с. 92–94).

«Чего хочет Уолт Уитмен? — спрашивает тот же Гамсун. — <...> Неизвестно! В искусстве много говорить, решительно ничего не сказав, я не встречал ему равного. Слова его горячи, они пылают; в стихах его страсть, сила, вдохновение. Слушаешь эту беспорядочную музыку слов и чувствуешь, как грудь его трепещет. Но никак не поймешь, чем он вдохновлен. <...> Читаешь страницу за страницей и никак не найдешь в ней какого-нибудь смысла»³.

«Очень легко писать об Уолте Уитмене красивые слова», — говорит Чуковский^{8*}. Из сказанного видно, что «настолько же легко писать об Уитмене смешные слова».

³ Ibid.^{7*}

И не мало писали их. Сам же Чуковский приводит некоторые отзывы об Уитмене, которые далеко не являются «красивыми словами». «Что это?! Стихи ли, с беспорядочным неслыханным размером или сумасшедшая проза?» — говорится в «Заграничном вестнике»^{9*}. «Что пьяный илот бесстыдствует на базарной площади, — не служит ли это укором толпе, которая не даст ему тумака, чтобы опять он укрылся в грязном своем притоне» (Western Review, 1860). «Всякий, кто решился бы выпустить такой бессмысленный вздор, как “Побеги травы”, имел бы все права считаться примерным обитателем сумасшедшего дома»⁴ и т. д.

Слава далеко «не красивые».

Но, однако, наряду с этими отзывами имеются и противоположные — восторженные отзывы.

«Нет, я не слеп, — писал великий критик Эмерсон Уитмену, тогда еще неизвестному, — и вижу изумительное великолепие “Побегов травы”. Мудростью и талантом они выше всего, что доселе создавала Америка. Я счастлив, что читаю их, ибо великая сила всегда доставляет нам счастье. В вашей книге для несравненных образов нахожу несравненные слова, как раз такие, какие нужно. <...> У порога великого поприща приветствую вас! За ним, несомненно, скрывается не проявлявшееся доныне долгое прошлое, необходимое для такого начала. Я протираю глаза: не во сне ли вижу этот солнечный луч»⁵ и т. д.

Так же восторженно приветствовали его О’Коннор, Росетти, Авраам Линкольн и др. Теперь Уитмен переведен на французский, немецкий, голландский, польский, итальянский и датский языки. Появились его «Побеги травы» в прошлом году и на русском языке (пер. Бальмонта). В Америке и Англии существует о нем громадная литература, и он считается уже национальным американским поэтом. Бальмонт в предисловии к «Побегам...» пишет: «В Америке было три великих поэта, и два из них — предельные. Их имена — Э. По, Уитмен и Лонгфелло. <...> Лонгфелло <...> мог быть и не быть. С Лонгфелло мы богаче, но и без него мы не были бы бедняками. А Эдгар По и Уолт Уитмен были неизбежны в истекшем столетии. Без них XIX век не мог бы осуществиться и быть законченным. Они так же неизбежны в жизни нашей души, как первая любовь, первое горе, лунный вечер и солнечное утро», — и много еще других красивых слов говорит об Уитмене Бальмонт^{11*}.

Благодаря всему этому еще более теряешься при чтении Уитмена и его оценке. Одни величают его сумасшедшим, а другие — гениальным. И невольно встает все тот же вопрос: кто он? Великий и гениальный поэт или же сумасшедший составитель каталогов? Ведь «от великого до смешного», «от гениальности до сумасшествия» только один шаг — так говорит мудрая пословица и школа Ломброзо. Куда же, к которому полюсу отнести Уитмена?

Очертим кратко его жизнь, может быть, она поможет нам решить наш вопрос и объяснить нам «смешные чудачества» Уитмена.

⁴ Заимствую из кн. Чуковского «Поэт-анархист Уолт Уитмен», с. 12.

⁵ Ibid., с. 14–15^{10*}.

II

Жизнь Уитмена красива и разногранна. Она до некоторой степени похожа на жизнь Горького и Гамсуна.

Родился Уитмен в 1819 г. близ Нью-Йорка, в Вест Хиле, на Лонг-Айленде. «Предки Уитмена были все фермерами, все огромного роста, широкоплечие, дюжие, долговечные, тугие на разговор и крепко привязанные к своей земле. Страсти их пробуждались медленно, зато, раз вспыхнув, не скоро погасали и разгорались сильным пламенем», — так пишет биограф Уитмена Бекк^{12*}.

Отец Уитмена был столяр, Уитмен до тринадцати лет посещал школу, а затем начинает учиться малярному ремеслу. С шестнадцати лет начинается для него кочевая жизнь: кем^{13*} только не перебивал Уитмен! Типографский мальчишка, народный учитель, корректор, разносчик, редактор уличной газеты, рабочий, фермерский поденщик, просто путешественник — таков краткий перечень занятий, которыми занимался Уитмен. Во время войны северных штатов с южными Уитмен поступает волонтером в армию, в лазаретный отряд, где показывает чудеса храбрости. Убийство было ему противно, и его храбрость проявилась не в многочисленных убийствах, а в том, что из-под града пуль, под свист картечи, он выносил на своих могучих плечах раненых и, как верная сиделка, целые ночи просиживал в бараках, помогая больным.

Результатом этой неутомимой деятельности Уитмена были — переутомление и опасная болезнь. Оправившись от нее, он поступает, в 1866 г., чиновником в Министерство внутренних дел в Вашингтоне, но вскоре увольняется министром «как автор безнравственной книги». В 1873 г. его поражает паралич и навсегда приковывает к постели. Умер Уитмен в марте 1892 года.

Таковы вехи жизни Уитмена.

Во время этого беспрестанного скитания Уитмен по частям написал «Побеги травы», которую набрал и отпечатал от первой до последней буквы собственными руками.

У Уитмена, говорит Конвей, «два рабочих кабинета: один на верхушке омнибуса, другой на той небольшой, пустынной гряде песка, которая зовется Coney Island^{14*}. Много дней проводит он на этом острове в полном одиночестве, как Робинзон»^{15*}.

«Чтобы понимать Уитмена, надо видеть его», — говорит один из критиков, и, может быть, в этих словах есть своя доля правды.

На набережной Патомака, пишет Саймондс, часто можно было встретить седого великана, одетого в серый или синий дешевый костюм. Волосы у великана вились локонами; они поседели в тридцать лет. Широкая белая борода закрывала могучую грудь. Лицо у Уитмена было румяно, как яблоко, голубые глаза сияли юношеским блеском. Не знавшие Уитмена строили догадки, кто бы

мог быть этот гигант с мускулами гладиатора: отставной ли капитан, священник, контрабандист, торговец невольниками? Масса не хорошо знала Уитмена и называла его «the good gray poet» («добрый, старый поэт»)^{16*}.

А Конвей приводит такую сцену из личной встречи с Уитменом. «Жара стояла страшная. На выгоне хоть бы деревцо. “Нужно быть огнепоклонником и очень набожным, — думалось мне, — чтобы в такую пору удержаться здесь”. Куда ни глянешь — пусто, ни единой души. Я уже готов был вернуться, как вдруг увидел того, кто мне был нужен; он лежал на спине и смотрел на мучительно жгучее солнце. Серая рубаха, голубовато-серые брюки, голая шея, обожженное солнцем, загоревшее лицо. На бурой траве он — и сам часть земли, как бы не наступить на него по ошибке.

— И вам не жарко?

— Не очень <...>

Мы пошли с ним купаться, и я, глядя на него, вспомнил Бахуса на его гравюре^{17*}. Великолепное тело у него <...> Первую радостную улыбку заметил я у него, когда он вошел в воду. Если он говорит о чем-нибудь увлекательном, его голос — нежный и мягкий — замедляется, и веки имеют стремление закрыться. Невозможно не чувствовать каждую минуту истинности всякого его слова, всякого его движения, а также удивительной деликатности того, кто был так свободен со своим пером»^{18*}.

В его личности, говорит Карпентер, чудились какие-то безгранные дали, какие-то углубленности... Такой простоты в обращении и такой свободы от всяческого самолюбования я также не видал ни у кого. И никого не встречал я другого, про кого так ясно сознавалось бы: вот человек, знающий чего ему надо. А над всем этим чувствуешь какую-то лучистую силу в нем — что-то сдержанно-грустное, отдаленность и неприступность какую-то...

Таковы характеристики Уитмена. Как они резко отличаются от того Уитмена, который может представиться при чтении «Детей Адама» — наиболее «нескромного» отдела «Побегов травы»!

С одной стороны, Уитмен «Побегов травы» — буйный, восторженный, ликующий, обнимающий весь мир, а с другой — Уитмен спокойный, никогда не смеющийся и спокойно глядящий на вас своими синими лучистыми глазами. Какая разница!

III

Бальмонт говорит: «Можно любить или не любить Уитмена, но устранить его невозможно»^{19*} — и он прав. Уитмен необычное явление в мировой литературе; одни его будут называть составителем реестров и каталогов, другие — величайшим поэтом, «сиянием солнца», будут упиваться его «неуклюжими» каталогами и считать их жемчужинами поэтического творчества.

Почему? Потому что поэзия Уитмена не поэзия, а сама жизнь, ликующая, полная сил, неизмеримо глубокая и неизмеримо широкая.

Она — весь мир, и сам Уитмен — космос.

Одного воспеваю я, личность простую, отдельную.

Но слово мое — для Народа, мой лозунг — для Всех, —

говорит Уитмен. Но посмотрите, что он понимает под личностью.

О теле живущем пою, с головы и до ног,

— Не только лицо и мозг достойны, — сказала мне Муза, — много достойнее

Форма в своем завершении,

И Женщину я наравне воспеваю с Мужчиной.

О жизни безмерной в биеньи, во власти и страсти,

Веселой, для вольных деяний по законам божественным созданной, я пою.

Человека пою наших Дней.

(Побеги травы. «Одного воспеваю я»)^{20*}

Личность Уитмена — не нечто индивидуальное, отделенное от всего мира, а это сам мир, воплощенный в личности. Уитмен мог бы сказать вместе с имманентной философией: «Мир есть содержание моего сознания», — или вернее: «Я есть мир и мир есть я». А так как это «Я» выше и ценнее всего, то и все, что составляет это «Я», абсолютно ценно и свято, значит, свят и ценен весь мир.

Я — Уитмен, я — космос, я сын Мантагана.

Я из мяса.

Похотливый, шумливый, я пью, насыщаюсь, рождаю.

О, голоса глухие, сквозь меня ваша буря несется.

Голоса рабов и колодников!

Голоса иступленных, и чумных, и сводников, и воров, и уродцев,

И нитей, связующих звезды,

И женских чресел, и влаги мужской,

Дураков, плоскодушных, срединных, калек,

И навозных жуков,

И туманов, молчащих над далями рек.

Сквозь меня голоса запретные,

Голоса вождений и похотей (с них я снимаю покров)

И голоса разврата, мною светлые, мною приветные.

Сочетание плотей

У меня в таком же почете.

Как смерть!

Верую в мясо, и его вождения:

Слушанье, зренье, хотенье — вот чудеса и чудо — каждый отброс от меня!

Я — божество и внутри, и снаружи, все свято, к чему прикоснусь.

Ароматней молитвы — запах ладони моей.

Моя голова превыше всех библий и вер, и церквей.

(Пер. К. Чуковского)^{21*}

Эта песня — символ веры Уитмена. Мировоззрение его — абсолютное утверждение абсолютной личности, — носительницы всего космоса. Не личности как Петра в противоположность Ивану, а личности как *Человека*, значит, и Ивана, и Петра, и т. д.

А так как эта личность обнимает весь мир, то отсюда следует, что все в мире велико и ценно. В этом стихотворении, как и в ряде других, Уитмен, словно нарочно, подчеркивает все то, что считается «некрасивым, развратным, безнравственным и бесценным», подчеркивает, чтобы сказать — это все есть «Я», а «Я» — свято, поэтому вывод: «Все свято, к чему прикоснусь», — ибо «Я», «личность» — есть абсолютная святость.

На этой плоскости исчезает всякая грань между добром и злом — в обычном смысле. И преступник, и проститутка — все это святость, ибо все это «Я», ибо все это — «мир» и все это — «жизнь».

Вы, преступники, взятые в суд,
Вы, осужденные в кельях, приговоренные, убийцы в цепях и в железных
ручных кандалах,
Кто же я, что я не взят в суд, что я не в тюрьме? —

спрашивает Уитмен и отвечает:

Я — бессердечный и дьявольский, как и любой...
Вы, проститутки, по тротуарам идущие в ярких одеждах или в стенах
своих комнат бесстыдные,
Кто же я, чтобы мог вас назвать бесстыдными больше себя?

О, виновен! Я сам признаю — сознаюсь!
<...>
Заодно я с преступниками, объятый страстной любовью,
Чувствую, *есть я единый от них, я сам — в этом лике острожников и про-*
ститутки,
И отныне от них отречься не буду я — ибо как я отречься могу от себя?
(Побеги травы, с. 149–150)

Да и не нужно отречься, добавляет он в следующем стихотворении, ибо:

Все должны иметь отношения к общему целому мира, к всеобъемлющей
правде мира,
Не будет ничто казаться чрезмерным — все созданы должны изъяснять
божественный закон уклонений.

(с. 150)

Таким образом, Уитмен — певец мировой жизни, во всех ее видах и разновидностях, воплощенных и отраженных в личности. Уитмен принимает мир и жизнь такими, каковы они суть: он ничто не выбрасывает оттуда, ничто не считает негодным, а все берет и все взятое считает святым.

...о только б в саморавновесии быть для всех случайностей,
Чтоб встретить ночь лицом к лицу, и бури, голод, несчастья, удары,
посмеянье, как это делают деревья и животные! —

воскликает он^{22*}.

Этим и объясняется то, что, несмотря на все оскорбления и насмешки, Уитмен не выбросил «Детей Адама» из своей книги. Выбросить их для него было бы равнозначно — отказаться от себя. И вполне прав и последователен был он, когда на совет Эмерсона выбросить их, на его целую диссертацию, доказывавшую необходимость этого, ответил: «...на ваши обвинения нет у меня ни единого возражения, и все же после вашей речи я еще больше верю, что я должен исповедовать и проповедовать мое учение»^{23*}.

Поэтому же в высшей степени удачно выражение Конвея, говорящего, что Уитмен не задумается притащить в гостиную лохань, чтобы показать, что и в ней действуют те же химические законы.

В руках Уитмена лохань перестает быть лоханью, зло — злом, цинизм — цинизмом, ибо все это — часть Личности-мира и Мира-личности, все это отдельные грани одной великой и святой жизни.

«Верую в мясо и в его вожделения!» — демонстративно восклицает Уитмен, и хочет этим сказать не то, что *только* мясо и бедра «достойны внимания», мысль <же> и душа — ничто, а говорит этим то, что *душа и тело* — *оба* святы, оба ценны и ни то, ни другое нельзя порицать и отбрасывать.

Может быть, отчасти этим и объясняется каталогообразность песен Уитмена.

«Вы лицемерно признаете только душу, а телом торгуете, так нате же вам», — как будто хочет сказать Уитмен и словно нарочно начинает воспевать «электрическое тело» и перечислять губы, зубы, сережки ушей, желудок и т. д.

Он охватывает весь мир и, желая выразить это, охватывает, перечисляет его грани — реки и горы, людей и страны и т. д.

Каждому слава! —

воскликает он, —

Слава тому, что зовем мы пространством, сфере бесчисленных духов,
Слава тайне движенья во всех существах, вплоть до мошки мельчайшей
<...>
Слава всему, что я вижу и слышу, чего я касаюсь, всему, до конца!..

Благо во всем!
В этом довольстве и в этом апломбе животных,
В крутовороте времен ежегодном,
В веселии юности,
В силе, в роскошестве зрелого возраста,
В изысканно-строгом величии старости
В великолепии смерти с ее панорамами, —

в экстазе великого жизне- и мироприятия поет он.

Я хваленья пою электрическим голосом,
Ибо не вижу несовершенства ни одного во вселенной,
И не вижу единой причины единого следствия, чтобы жалостны были, в конце
концов, во вселенной.

(Поб<еги> травы, с. 197–199)

Таков основной мотив и мировоззрение Уитмена.

Как видим, «Побеги...» Уитмена — абсолютное приятие мира, абсолютный оптимизм, вытекающий из отождествления личности с миром.

Это — не оптимизм «предустановленной гармонии» Лейбница^{24*}, а оптимизм, вытекающий из абсолютного утверждения ценности личности, в которой заключен весь мир; это и не сытое, самодовольное «все идет к лучшему в этом наилучшем из миров», а оптимизм действенный, требующий постоянного творчества, постоянного разрушения и изменения. Это утверждение мощной личности, полной сил и хотящей вечного творчества (см. ниже).

IV

Нет у Уитмена искусных и изящных рифм, нет у него математически правильного ритма; как и сама жизнь — так же неровны его стихи, сложны и бессистемны его поэмы. Да и не нужны Уитмену эти старые, устаревшие приемы. Они нужны, говорит он, для «певцов», но не нужны для великого барда, для создателя великих поэм — Отвечателя.

Слова простых^{25*} певцов только нравятся, эти слова ищут красоты, поэмы же великого Отвечателя «не просто лишь нравятся, они не просто свита красоты, но священные владыки красоты», «они красоты не ищут, а их самих ищут».

Создатель поэм устанавливает справедливость, действительность, бессмертие,
Его глубокий взгляд внутрь и власть обнимают все вещи и весь человеческий род,
Он — слава и запись до этой строки, запись вещей и рода людского^{26*}.

Бард, по мнению Уитмена, это не тонкий созерцатель изящных форм прекрасного, а великий Отвечатель, творец жизни, властелин бытия; вечно творящий в потоке страстей и силы, разрушающий отжившее и кующий будущее; его поэмы — сама жизнь: кого захватят они, того уносит в пространство, чтобы посмотреть на рождение звезд и познать одно из значений,

Чтобы с полною верою в путь устремиться, умчаться вперед по звеньям
несчетным, и больше покоя не знать... —

как его не знает и сама жизнь (Ibid., «Песнь Отвечателя»)^{27*}.

Если бы выбор имел я сходствовать с лучшими бардами, —
воскликает он — с Гомером, с Шекспиром, с Тенниссом^{28*},

Это, все это, о, Море, все это охотно б я отдал,
Если бы дало мне ты колебание единой волны,
Ухватку ее
Или вдохнуло бы в стих мой дыханье свое, единое,
И оставило в нем этот запах.

(с. 203–204)

Частичка жизни, запах моря, для него дороже всех красивых, но безжизненных узоров бесплотной красоты.

И схватить этот запах, это дрожание жизни безмерной Уитмену удалось. Его стихи — сама жизнь, неровная, многоликая, многогранная, его творчество — призыв к жизни, не знающей покоя, к борьбе, к новым граням. Уитмен весь горит и трепещет, действует и разрушает.

Удивительно в этом он сходится с другим великим певцом жизни — Э. Верхарном (последнего периода).

И для Верхарна жизнь — центр бытия и высшая ценность.

О, жить, и жить, и чувствовать себя,
Тем выше, тем сильнее, чем жарче сердце бьется,
Жить радостно, светло, когда все удастся...
Когда же рок, мечты весенние губя,
Всю силу смелых рук упрямо иссушает,
То вопреки всему, что давит и смущает,
Жить напряженной, жить страстней
С поднятой гордо головою!! —

как и Уитмен, восклицает Верхарн («К жизни», пер. Чернова)^{29*}.

О, жить всегда, все время умирая! —

восклицает Уитмен^{30*}.

Высвободить себя из этих тел моих, меж тем как я верчу их и смотрю туда, куда я их бросаю;
И уходить (живя! всегда живя!), и оставлять тела там за собою».

(Побеги <травы>, с. 183)

Жить: это взяв, отдать с весельем жизнь свою, —

так же восклицает Верхарн^{31*}.

Со мною равны те, кто миром также пьяны!
С бессонной жадностью пред жизнью я стою,
Стремлюсь в ее самум, в ее поток багряный!

Паденье и полет, величье и позор —
Преображает все костер существования!
О, только б кругозор сменив на кругозор
Всегда готовым быть на новые исканья.

(Верхарн. Стихи о современности>. Пер. Брюсова, с. 93, 94)

Верхарн зовет к постоянному творчеству.

...твори, обновляй,
Иль поди и умри!
Открой или руки о двери сломай <...>!⁶ —

поет он^{33*}; то же говорит и Уитмен.

...противьтесь много, повинуйтесь мало! —

дает совет он Штатам^{34*}.

*Поле битвы есть мир,
Не на жизнь, а на смерть эта битва, за Тело и вечную Душу,
Вот явился и я, чтобы петь песню битв,
И я прежде всего поощряю
Смелых солдат! —*

говорит он о себе (с. 12)^{35*}.

О, действие, борьба! Тобою жизнь жива! —

воскликает Верхарн^{36*}.

К тому же зовет и то же поет и Уитмен:

Загорелую толпою
Подымайтесь, собирайтесь для потехи, для игры!
В барабаны застучите, наточите топоры!
Оставайся, кто захочет.
Мы должны нести пожары, нас удары ждут в бою!..
Все, что было, да не будет!
По неведомым тропинам,
По долинам, по равнинам, чрез пучины чуждых вод,
Побеждая и хватая, мы, смеясь, идем вперед..
Мир почившим и усталым!
Завтра милые могилы мы цветами уберем,
А сегодня по могилам с ликованием пойдем.
Дальше сжатыми рядами!
К бою, к смерти, к поражению, только, только не назад —
Если мертвыми падение — вас живые заместят,
Оставайся, кто захочет!

(«Зачинатели рифмов», пер. К. Чуковского)^{37*}.

Тот и другой — певцы борьбы и жизни, тот и другой — певцы настоящего и будущего, тот и другой — певцы великой Демократии,

Для тебя, <...> о, Демократия, чтоб служить тебе, о, жена моя,
Для тебя, для тебя они, все эти песни звенящие! —

воскликает Уитмен^{38*}.

⁶ О Верхарне см. мою статью «Гамсун и Верхарн как выразители современных дум и настроений» (Всеобщ<ий> журн<ал>. 1911, № 10)^{32*}.

Призывая к жизни и к творчеству, он, как и Верхарн, зовет к творчеству во имя Любви — основы бытия. У демократии для Уитмена есть великая любовь, великое товарищество.

Я создам магнетически дивные страны
Любовью товарищей,
На жизнь — любовью товарищей! —

обращается он к Демократии^{39*}.

Таковы основные черты творчества Уитмена.

Его можно любить и не любить. Те, кто жизнью считают непрерывное действие, те будут любить и понимать Уитмена, так же, как и Верхарна. Те же, кто любит только «тихие, сладкие грезы, нежные и прозрачные», кто только в них видит жизнь — для тех Уитмен будет только составителем каталогов.

Они его не полюбят, да едва ли и поймут.

Только тот, в ком велики порывы жизни, только тот поймет эту бессистемную, гармоничную в своей бессистемности поэму жизни Уитмена. Когда душа переполнена глубокими и неизмеримо богатыми переживаниями, когда она, как дивная арфа, дает свои отзвуки на все звуки мира, тогда рифмы не нужны, тогда нужен лишь один неистовый гимн, поющий о чудесах бытия и о полноте жизни. Для здорового не нужны пилюли, они нужны лишь для больного. В pendant^{40*} к этому можно сказать, <что> для человека, полного переживаний красоты, видящего ее в каждой грани мира, не нужна рифмованная красота. Она нужна лишь для тех, в ком ослабели переживания красоты.

Недаром эти два певца жизни называют себя певцами демократии: они знают, что великая жизнь трепещет в ее недрах, что могучие зовы пробуждаются в ней, и великое творчество предстоит ей в будущем, поэтому-то они и певцы ее; ибо и демократия, и они — творцы и носители буйной, вечно творящей и вечно разрушающей жизни.

Можно любить и не любить будущее царство Демоса, царство солидарности и деятельной любви, но оно неизбежно и в этом смысле предельно.

Точно так же можно любить и не любить Уитмена, но он неизбежен и поэтому предельно. Как и все великие творцы, он «нов» и «непонятен», а потому «сомнителен».

Но приходит время его перехода из категории «сомнительных» в категорию «истинных» поэтов.

Уитмен уже перешагнул через предельную черту.